Военные Приключения

СТАЛИНГРАДСКИЙ ГУСЬ

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Валерий Дмитриевич Поволяев

Сталинградский гусь

Серия «Военные приключения (Вече)»

Издательский EPUB
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64958136
Сталинградский гусь: Вече; М.; 2021
ISBN 978-5-4484-8650-0

Аннотация

«Пыхтя, как паровоз, Максимыч развернул пулемет и успел это сделать вовремя, поскольку на линию окопов вновь заходили “мессеры”, а когда они приблизились, дал длинную очередь…»

«Душман целил в головную машину, но не учел скорости грузовика, вторая и третья машины также прошли без помех, пули лишь прошили воздух, а вот следующая пострадала – свинец снес половину кабины…»

Новые произведения признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова, литературной премии «Во славу Отечества» и многих других.

Содержание

Сталинградский гусь 5
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Валерий Дмитриевич Поволяев

Сталинградский гусь

© Поволяев В.Д., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru

Сталинградский гусь

Сталинградский гусь Гусенок был небольшой, серо-желтый и очень проворный, он появился на нейтральной полосе между двумя линиями окопов – нашей и немецкой. Над окопами низко, длинными, пахнущими маслом и гарью лохматыми полосами полз дым, иногда прилипал к земле, цеплялся за огрызки кустов, оставлял на них ватные комья, сверху накладывал тонкий слой тумана, будто присыпал мелким коровьим творогом и устремлялся дальше.

Дым этот полз со сталинградских окраин.

Паулюс уже сдался, его, как объяснил командир роты лейтенант Пустырев, вместе с несколькими генералами и двумя переводчицами увезли в Москву на самолете Ли-2 для переговоров, в роте надеялись, что пленение Паулюса поможет приблизить далекую победу.

Отдельный пехотный батальон, в котором служили Пустырев, держал оборону на южных подступах к Сталинграду, поскольку оттуда пытались пробиться к городу немецкие танки, напирала пехота, – фрицы еще надеялись помочь Паулюсу, но помогать генерал-фельдмаршалу было уже поздно, хотя в одном месте танки Готта прорвали оборону и совершили рывок в шестьдесят километров; замерзшие, грязные, как черти, оглохшие от воя моторов солдаты, идущие на помощь, не знали, что Паулюс уже выбросил белый флаг.

В конце концов через некоторое время нарисовалась линия обороны, и немцы и наши с одинаковым рвением и торопливостью вгрызлись в землю, закопались в нее по макушку, и война вошла в разряд дистанционных войн.

Танки немецкие, в том числе и те, что были переброшены из Африки, от густой пыли и снежных зарядов стали все как один розовато-серыми, словно бы перегрелись и сменили окраску. Пыл свой они умерили, утомились и атаковать уже не пытались. Если и делали это, то очень вяло, поскольку в группе армии «Дон», возглавляемой Манштейном, даже самый распоследний солдат знал, на что Гитлер рассчитывал: Паулюс поступит, как истинный ариец и пустит себе пулю в лоб, но фельдмаршал, лишь несколько дней назад произведенный в высокое звание, этого не сделал… Гитлер проклял Паулюса.

Да хрен с ним, с этим шутом Гитлером…

Отдельный гвардейский стрелковый батальон стоял на своих позициях, к батальону примыкали две батареи 76-миллиметровых пушек – артиллеристы закопались в землю, в свои капониры и готовы были встретить не только Готта, но и Гудериана, и Манштейна, – кого угодно, снарядами они запаслись основательно. Плюс к тому, что имелось, «боги войны» запаслись еще и трофейными пушками, благо снарядов немецких было оставлено много.

Из немецких окопов той порой громыхнул винтовочный выстрел – били по гусенку, пуля воткнулась в землю, взбила

фонтан почти у самой птицы, гусенок быстро сообразил, что к чему, проворно отскочил от пулевого пробоя и заковылял в сторону русского окопа.

Пустырев выругался, крикнул пулеметчику:

– Максимыч, прикрой гуся!

Максимыч обматерил Гитлера, добавил еще несколько крепких слов и выругался на немецком языке – этому он обучился у разведчиков, когда служил в их роте, но после ранения вернуться к разведчикам не удалось, не потянул ефрейтор по части здоровья и осел в роте Пустырева, – повел тупым рыльцем пулемета по линии длинного немецкого окопа.

– Давай, гусенок, вращай лапами шустрее! – подогнал он беглеца. – В нашем окопе лучше, чем в немецком.

В следующий миг он заметил, что немец, стрелявший в косолапого беглеца, перезарядил свою винтовку и вновь высунул ствол из-за бруствера, крякнул негодующе и дал по брустверу короткую звонкую очередь.

Раскаленная докрасна небольшая струя пуль всадилась в землю, разломав винтовку, спихнула ее в окоп, заодно отшвырнула к противоположной стенке и ретивого фрица, чтобы больше не шалил.

Судя по остро резанувшему слух вскрику, шалить он больше не будет – отшалился. Если, конечно, его довезут живым до госпиталя.

Можно было, конечно, дать очередь подлиннее, но Максимов, воевавший с сентября сорок первого года, знал цену

патронам и, если удавалось сохранить в экономной стрельбе десяток патронов, был очень доволен. Был он доволен и в этот раз – и очередь была короткой, как ширинка у штанов – всего на три пуговицы, и красноклювого гусенка он не дал завалить, и пару патронов точно сэкономил.

Оглушенный пулеметным стуком гусенок остановился растерянно, опасливо глянул в немецкую сторону, Максимов, опасаясь за его жизнь, даже вскинулся в тесной пулеметной ячейке:

– Быстрее сюда, гусь! Кому сказали – быстрее!

Гусенок вновь что было силы припустил к русскому окопу, завалился на один бок, перевернулся через голову, мгновение спустя встал на лапы, дальше упрямо пошлепал к окопам, из которых доносилась русская речь.

Максимыч в очередной раз выпустил короткую дымную струю, снес верхушку бруствера на противоположной линии противостояния, за которой увидел плоскую немецкую физиономию, только глина в воздух полетела, следом, кувыркаясь и соря щепками, – обломки досок, которыми фрицы укрепили свой окоп… Так и надо! Нечего за доски прятаться. Пулеметчиком он был толковым – умел из станкового «максима» попадать в консервную жестяную банку, поставленную на пенек в ста метрах от линии огня…

Серо-желтый комок, смешно тряся головой, состриг клювом воздух – взял пробу и, задрав лапы вверх, закувыркался в яму; окоп, в котором находились бойцы Пустырева, ахнул

громко – народ переживал за русского гусенка, бегущего из немецкого плена, а Максимов вновь поспешно прильнул к пулемету… Несколько бойцов передернули затворы автоматов.

– Гуся ранило! – прокричал кто-то из бойцов.

– Этого не было, – пулеметчик отрицательно покачал головой, – я не видел!

Гусенок находился к нему ближе всех, беглец уже почти доскребся до нашего окопа – длинного, неровного, специально вырытого во всю длину немецкой обустроенной траншеи, вся история разыгрывалась на глазах Максимова, и тем не менее слово «ранило», выбитое в воздух чьей-то неосторожной глоткой, заставило пулеметчика встряхнуться. Он просипел что-то невнятное, возмущенное, приник к «максиму», но стрелять не стал – в прицельное окошко пулемета опасно сыпануло песком, чуть не забило глаза.

Состояние его было таким, словно бы он раздетым вышел на секущий зимний ветер, первый же порыв пробил его насквозь, до самого хребта, даже дышать сделалось нечем, – на фронте такое состояние бывает у каждого бойца, хоть раз в жизни, но обязательно бывает.

Сипенье человека будто подогнало гусенка, он с писком попробовал выскочить из ямы, в которую попал, но крутизну ее не одолел и скатился назад. Повторил попытку, но безуспешно, и с жалобным, каким-то синичьим писком вновь нырнул назад, хотя добрался почти до верха… Ан нет, толь-

ко красные лапы дернулись в воздухе пару раз и исчезли.

– Вот физкультурник! – вновь выкрикнул кто-то из окопа, скорее всего – какой-нибудь малохольный паренек из пополнения: вчера в батальон влилось сто двадцать новоиспеченных бойцов.

Пороха они пока не нюхали, поэтому так весело себя и ведут, думают, что тут всегда бывает так интересно, через несколько дней новобранцы уже перестанут быть новобранцами и если они не обтешутся, то обомнутся точно. А кое-кто даже отправится в госпиталь. Страх же, как правило, появляется с первой болью, точнее, после нее.

Гусенок тем временем выкарабкался из коварной ямы и, колыхаясь из стороны в сторону, продолжил путь. И все бегом, бегом, бегом…

Из немецкого окопа высунулась голова в каске, Максимов засек ее мгновенно и так же мгновенно среагировал – пулемет отплюнулся короткой гулкой очередью. Каска тут же провалилась за бруствер, только вряд ли она помогла владельцу.

Какая-то странная смятая тряпка испуганной птицей вылетела из немецкого окопа и беззвучно шлепнулась на нейтральную полосу, – ну словно бы кто-то хотел напугать гусенка… Максимыч держал под прицелом весь немецкий окоп, длинный, как противотанковая траншея, до той поры, пока гусенок не добежал до нашего рубежа и не свалился в руки приятелю пулеметчика старшине роты Сундееву.

Максимыч облегченно перевел дыхание, отвалился от пулемета, затем кулаком стер со лба пот и, прислонившись спиной к стенке окопа, сполз вниз, на глинистое дно.

– Молодец, Егорыч, не дал гусю сломать лапу, – похвалил он приятеля.

– Молодец против овец. – Сундеев и сам был доволен тем, что гусенок спрыгнул ему прямо в руки и вообще уцелел, сидел у него на ладонях, раскрыв клюв и загнанно дыша, он сейчас был похож на желторотого октябренка, выигравшего в своем классе соревнования в беге на пятьдесят метров – уставшего, вспотевшего, но довольного. Гусенок, похоже, понимал все происходившее и вел себя соответственно, хрипло вздохнул один раз, потом другой и начал потихоньку оправлять на груди перья.

– Мы его специально запишем в нашу роту с последним пополнением, – пообещал Сундеев, – официально… В списки внесем, довольствие будет, ёкалэменэ, получать.

Это было дело хорошее.

За старшиной роты были закреплены две подводы, – собственно, это не подводы были даже, не обычные телеги с кривыми оглоблями, которыми пользуются в бедных деревнях, а настоящие фуры с высокими бортами, немецкие, почти новые, судя по яркости защитной краски, с блестящими металлическими деталями – уголками, накладками, шайбами, проволочным крепежом, прочей полубутафорией, которая больше нужна в цирке, чем на войне.

В одной из фур нашлось место и новоявленной живой душе второй роты отдельного гвардейского стрелкового батальона. Насчет имени для нового бойца рядить и гадать не стали, взяли то, что находилось на поверхности, – назвали Гусенком.

– Гусенок – это хорошо, – сказал Сундеев.

– Не просто Гусенок, а с гвардейской приставкой, – уточнил пулеметчик, – гвардии Гусенок, – и будто утвердил это решение, поставил на нем печать.

Продуктов в батальоне было достаточно. Все посылки, которые немцы доставляли в Сталинград по воздуху, шлепались на землю с недолетом: поскольку зенитное кольцо прорвать было трудно, то ночные рейсы воздушных гитлеровских грузовиков заканчивались тем, что продукты оказывались в расположении наших частей и наши бойцы от всей души благодарили фюрера, говоря ему: «Большой тархун!», что означало «Большое спасибо», так что примерно полторы недели отдельный стрелковый батальон откровенно жировал. И за счет этого воевал лучше обычного, поскольку с полным брюхом воевать сподручнее, чем с пустым, во время автоматных перестрелок не надо думать о куске хлеба.

Перепадал гвардейцам и шнапс. Запечатанный в литровые фляжки, обтянутые плотной материей и увенчанные белым, нанесенным по трафарету на ткань масляным орлом.

– С таким обеспечением воевать можно сколько угодно, – довольно хмыкал Сундеев, – и если понадобится, то дойти

не только до Берлина, но и до Лондона.

Слово «Лондон» он произносил с ударением на второй слог, получалось почти по-дворянски «многозначительно», как это отметил, приподняв правую бровь, пулеметчик Максимов, после чего вздернул корявым сучком большой палец левой руки и аккуратно посыпал его невидимой солью.

С запозданием, уже определив гусенка в фуру и соорудив ему закуток с подстилкой, обследовали нового бойца – не переломал ли он себе чего во время перехода через линию фронта, не покалечился ли парень?

Все с ним было в порядке, даже царапин не отыскали – ни одной просто, удивительная вещь, хотя голова была испачкана пороховой сажей, лапы – пролитой танковой смазкой и чем-то еще, очень подозрительным, похожим на коровий помет.

– Ну все, гвардеец, больше не будем тебя мучить, – заявил пулеметчик, сажая гусенка в закуток, – поспи малость, отдохни от всего пережитого. Если пошамать захочешь – гавкни нам с Егорычем. Колбасы тебе не найдем, но хлеба с картошкой отыщем. Рассчитывай на тарелку. И, если пожелаешь, можем угостить плошкой шнапса. Понял?

Гусенок все понял – сообразительный был, вытянул шею и тихонько крякнул, почти по-утиному.

– Молодец! – восхитился пулеметчик. – Ежели дело и дальше так пойдет, то скоро у меня в расчете вторым номером будешь.

Второй номер в расчете пулемета «максим» – это должность по окопным меркам высокая, и вообще шансы занять какую-нибудь командную вакансию в роте у нового бойца возросли.

– Только постарайся в фуре под себя не опорожняться, – попросил гусенка пулеметчик, – зад тебе некому подтирать. А сам ты делать этого не умеешь. Понял?

Понял это гусенок или нет, было непонятно, но тем не менее он наклонил голову, крякнул и перед сном начал оправлять перышки у себя на груди.

– Кавалер вырастет, – довольно проговорил старшина Сундеев, – настоящий! – Покашлял в кулак удовлетворенно, будто сам, лично произвел на свет этого кавалера. – Будет настоящая батальонная личность, перед которой, ёкалэменэ, станут вытягиваться все германские гусаки. Как только мы пересечем границу этого подленького государства, а мы ее обязательно пересечем, – тут старшина разгладил свои усы, потом примял их тяжелой ладонью, будто растение, которое должно сохранить нарядную форму, – так и займемся. Пару тамошних гусаков в честь победы запечем обязательно.

К расчету Максимова на смену подтянулся другой расчет – такого же хлопотливого расторопного мужика в ефрейторском чине по фамилии Сковорода. Отличался Сковорода от Максимыча тем, что был голосист, как солист Большого театра, иногда ублажал немецкие окопы украинскими песнями так, что те начинали беспорядочно швырять мины и врубали

по громкой связи гитлеровские марши, батальон же на слепой огонь почти не реагировал.

Максимыч, встретив Сковороду, лишь ухмыльнулся весело:

– Будет сегодня у фрицев музыкальная ночь. Ты уж постарайся, Фомич, будь ласков!

– Буду ласков, Максимыч, уважу карабасов, – пообещал Сковорода, он всех немцев называл карабасами, – они у меня сегодня спать с топорами лягут.

– А если вдруг поднимутся?

– Тогда я им фанерками глаза позаколачиваю, чтоб не просыпались и не бузили.

– Ты, Фомич, только не доведи ситуацию до точки, что по тебе уже наши стрелять будут… А немцы пусть стреляют сколько угодно, у них патроны грузовиками подвозят, пусть жгут.

С этими словами пулеметчик Максимов и потопал со своим вторым номером Малофеевым в тыл, только пыль из-под сапог в разные стороны полетела. В тылу у первого номера тоже дела имелись, и важные, надо заметить: сапоги у него были старые, в последнем походе продырявились, надо было бы их от дыр избавить, к правому кирзачу также приколотить подметку – не то уж больно обувь стала походить на башку крокодила с жадно раззявленной железнозубой пастью; и телогрейку, поскольку зима осталась позади, надо обиходить, – пригодится ведь еще одежка…

Штаны-галифе сплошь в дырках, тоже нитки с иголкой требуют, особенно коленки, на них вообще надо нашивать заплаты и простра чивать двойным стежком. И так далее.

Иначе, того гляди, начнется наступление, тогда не до ремонта будет.

– О-хо-хо! – закручинился по дороге Максимыч, поддел сапогом рыжий плотный комок, попавшийся под ногу, отбил его в сторону. – А земля-то… земля-то здесь сухая – червей совсем мало.

– Ты это к чему, Максимыч? – удивился второй номер, ноги при ходьбе он поднимал высоко, ни комки, ни глутки, ни мятые консервные банки на носок сапога ему не попадались, двигался Малофеев аккуратно, бесшумно, из него вообще хороший разведчик получился бы… Но пока получился хороший пулеметчик.

– Как к чему? – прокашлялся первый номер. – Все к тому же… Пора хорошая наступает, на душе делается тепло, рыбалить каждый день можно. И голавль сейчас на крючок очень охотно идет, буквально сам насаживается, и щука, и жерех с сазаном – в общем, все, что имеет в здешних водах хвост и плавники.

– Ты чего, рыбак, Максимыч? – неверяще поинтересовался второй номер, он словно бы открытие какое важное сделал, остановился на ходу, рот раскрыл, будто нечаянно проглотил муху или того хуже – рыбацкий крючок.

– Представь себе – рыбак, – неожиданно уязвленно про-

говорил Максимов: его поддело удивление второго номера, ну словно бы не верил Малофеев в таланты своего шефа по части ловли голавлей и хитрой рыбы, которую на родине пулеметчика величали безыскусно «конем». Максимычу однажды повезло – он поймал «коня» весом в семь килограммов…

Он тогда и дом свой с женой и двумя детьми накормил ухой и сочными рыбными котлетами, и соседский двор с целым выводком детишек.

– Себе представь, – переиначил его фразу Малофеев, – я тоже этим делом до войны баловался. Когда на фронт уходил, то пять справных удочек оставил, из них пара была ценных, с полуметровыми нахвостниками из седого конского волоса, на карася, м-м-м… Седой волос, он в воде не виден. Я на эти удочки на озерах по целой телеге карасей вылавливал, а то и больше.

– Не загибаешь? – Максимыч показал напарнику указательный палец, согнутый крючком. – Э?

– Вот те крест, не загибаю, – Малофеев поддел ногтем большого пальца правой руки передний зуб здоровенный, как лопата, потом цыкнул и провел по шее, – правду говорю!

– Караси в сметане, да ежели приготовить их умело, осетрине ни на грамм не уступят… А в чем-то даже и вкуснее могут быть, – со сладкой задумчивостью произнес пулеметчик, лицо его разгладилось, обрело умиротворенное выражение, усы растроганно зашевелились. – Значит, ты, Малофеев, то-

же принадлежишь к нашему дурацкому племени? Племени рыбаков?

– Тоже, Максимыч.

– Кхэ! – первый номер запоздало встряхнулся. – Получается, что у нас не расчет боевого пулемета «максим», а команда какого-нибудь сейнера, который на Волге ловит кильку?

– Кильки на Волге, Максимыч, нет. Не бывает.

– Это смотря, откуда глядеть, с какого конца, с верхнего или с нижнего…

– Тебя, Максимыч, не переспоришь. Не дано.

– Эт-то точно, – первый номер похмыкал малость, непонятно только было, доволен он такой характеристикой или нет.

Дорога пошла под гору, крутой дугой огибая почерневший березовый лесок, разбомбленный «юнкерсами», безобразно голый, и с уродливой голостью этой, оставленной фрицами, природа справиться не могла, хотя следы всех пожарищ, даже очень жестоких, которые на фронте встречали пулеметчики, природа старалась прикрыть, поднимала на этом месте стенку рослой полыни либо расцвечивала фиолетовыми метелками иван-чая, густыми разлапистыми щетками кизильника, который по осени становился ярко-красным, горячим, будто горел живым огнем. А еще лучше, если у матушки-природы находилось в заначке несколько ростков чу-

бушника…

Чубушник способен скрыть любое уродство, белые крупные цветы его похожи на распустившиеся чашечки жасмина, и запахом обладают таким, что человек невольно забывает о войне, о боли, о горе, размякает, как рыбак, поймавший двухкилограммового голавля. При мысли о крупном глазастом голавле, который, будто сказочная рыба, растопырит свои роскошные алые перья, едва вместе с крючком вылетит на берег, лицо у Максимыча поползло в сторону в обрадованной улыбке, глаза посветлели, он не выдержал, бодро прошелся ладонями по коленям, испачканным сухой глиной, – ну словно бы лет пятнадцать, а то и двадцать сбросил с себя мужик; второй номер вновь остановился, словно бы это дело стало для него привычным, и вылупил от удивления глаза. Рот у него распахнулся сам по себе, самостоятельно.

Увидев это, Максимыч вторично прошелся ладонями по коленям, отбил чечетку и посоветовал напарнику:

– Рот закрой! Потеряешь чего-нибудь, где потом возьмешь недостающую деталь? Или вороватая ворона что-либо утащит, а?

Малофеев поспешно захлопнул рот: действительно, а вдруг пропадет чего-нибудь очень нужное из внутреннего, спрятанного под брезентовым ремнем хозяйства? Тогда ведь ни один доктор не сумеет восполнить потерю.

Гусенок оказался существом сообразительным, интелли-

гентным, в закутке своем он не стал ходить под себя, ждал, когда кто-нибудь из пулеметчиков либо старшина вытащит его из фуры и опустит на землю.

Внизу он поспешно трюхал в ближайшие кусты и делал все, что нужно было делать. Потом неторопливо обходил фуру кругом, поскольку считал трофейное сооружение на колесах уже своей собственностью, придирчиво обследовал его от оглобель до подковы, прибитой на счастье к задку кузова и из большой плоской «канцервы» ел тюрю – накрошенный хлеб со сладким чаем, из другой посудины, также трофейной, пил воду и располагался под повозкой, в тени, на краткий отдых.

Рос он не по дням, а по часам и очень скоро понял, кто он и что он, что причислен к расчету пулемета «максим» на правах полновесной единицы, – да-да, только так, – и сам стал считать себя пулеметчиком.

Гусенок от своей известности не отставал, о нем написали в армейской газете, поместив заметку «Гвардии Гусенок», так что вскоре о нем знали больше, чем о хозяине-пулеметчике. Через три месяца он выглядел, как настоящий взрослый гусь. И чиновную важность обрел, и поступь криволапую выправил, и горделиво выставленный, наполненный сочным, чуть хрипловатым звуком зоб отрастил, – в общем, превратился в настоящего сталинградского гуся.

Отдельный батальон, в котором служил пулеметный расчет Максимова, на месте не стоял, – сместился по карте ма-

лость вниз, к Каспийскому морю, потом передвинулся на запад. При первых же признаках тревоги, предшествовавшей всякому перемещению, гусенок поспешно прыгал в свой нагретый, застеленный сеном закуток и подавал негромкий голос: готов, дескать, к передислокации, – главное было не отстать от своей части, от Максимова с Малофеевым, от расчета, где он числился третьим номером, не то ведь в суматохе, когда и стрельба возникает неурочная, и бомбы едва ли не с веток деревьев сыплются, всякое может быть… И ищи потом, свищи свою родную телегу. Гусь это хорошо понимал и старался быть дисциплинированным.

В конце концов батальон был определен на постоянный участок обороны, в центр Голубой линии, проложенной по кубанской земле, исковырянной лопатами и минами донельзя, хотя земля была подготовлена людьми совсем не для войны, а для дел мирных, но вот так по-чертенячьи бестолково, безжалостно взрытой, вывернутой наизнанку, что рождало у солдат, среди которых было много сельского народа, боль, слезы, онемение, проклятья фрицам, румынам, венгерцам… Очень скоро батальон вырыл окопы в полный рост, соединился с соседями и образовал с ними единое целое, которое ни разрушить с земли, ни взорвать с воздуха, ни закопать в преисподнюю было нельзя.

Гусенок продолжал находиться во втором эшелоне, Максимову не всегда удавалось к нему выбраться, тут одна надежда была – на старшину. Тот, надо отдать должное, про

краснолапчатого бойца не забывал, обязательно чего-нибудь ему подкидывал, – то тарелку размельченного колотушкой вкусного местного жмыха, то тюрю из штабного котлопита, то размоченный кукурузный хлеб, добытый разведчиками у немцев… С хлебом одна незадача была – он очень быстро черствел и обретал дубовую твердость. Приходилось на помощь призывать водичку, совать одубевший хлеб в ведро…

Так называемый Таманский плацдарм, который облюбовали фрицы и держались за него зубами, снаряды кромсали так же жестоко и нашпиговывали землю железом так же густо, как и линию обороны под Новороссийском, – на килограмм земли через полмесяца обороны приходилось полтора килограмма металла.

В плацдарме имелось несколько зубцов, которые мешали немцам не только жить – мешали даже дышать, смотреть на звезды и бегать в нужник после жирных баварских сосисек, и они сделали несколько попыток срезать эти зубцы и выровнять злополучную линию. Бои затеялись нешуточные, – в пыли, в дыму, в охлестах грязи даже пропадало солнце – его не было видно.

Ефрейтор Максимов со своим напарником по нескольку часов не вылезали из-за пулемета, для подмоги им – доставки патронов со второй линии на первую Пустырев даже выделил подмогу – очень дюжего бойца, настоящего Добрыню, иначе было не справиться.

Пулемет перегревался и воды для охлаждения требовал

столько, сколько не употребляли даже полевые кухни.

Пустырев выделил расчету в помощь еще одного бойца – специального водоноса, такого же, как и Добрыня Никитич дюжего мужика с широкими плечами и крепкими сильными руками. Батальон держался мертво, сдвинуть его с места немцы не могли.

С ручным пулеметом, с «дегтяревым», сменить позицию можно быстро – подхватил его на руки, как винтовку и перебежал в другой конец окопа, повел огонь с новой точки, а с тяжелым неувертливым «максимом», поставленным, как паровоз, на железные колеса, особо не побегаешь, через двадцать метров язык уже прилипнет к плечу, а сам вместе с задыхающимся вторым номером ткнешься задом в землю и встать сможешь не сразу.

Поэтому менять позиции приходилось не так часто, как хотелось бы, немцы это поняли и выставили позади своих окопов целую батарею минометов.

Как только меткий «максим» открывал стрельбу, так свою игру затевали и фрицы, их минометы начинали забрасывать хвостатые снаряды в наш окоп, мины шлепались часто – не спастись. Звук у немецких мин был противный, на подлете они визжали, будто поросята, которых перед тем, как зарезать, решили пощекотать ножиком.

Максимов вместе с напарником ныряли под пулемет, вжимались в землю, ждали, когда минометчики устанут или захотят выпить кофе, после чего выкапывались из земли и про-

веряли обстановку, особенно дотошно – передний край фрицев – не изменилось ли чего там?

Даже одна оборванная нитка колючей проволоки могла сказать о многом, глаз тут надо было держать вострым и засекать всякую малую малость, вплоть до полета лесного жука над разделительной полосой, уже сделавшейся каменной от беспощадного солнца.

Раз жук прилетел из леса, значит, там, в буреломах что-то происходит, надо об этом сообщить разведчикам: пусть проверят… Беспокоились пулеметчики и о своем гусе – как он там, в недалеком тылу?

Немцы, если захотят, то и по тылу пройдутся, оставят от фур лишь одни щепки, а от солдатских «сидоров» – обрывки; боеприпасов у них было завались, хоть на сковороде жарь вместе с ружейным маслом, а вместо гарнира подавай вареный порох, но немцы сделались уже другие, обвяли, как перезрелые овощи, – они устали от войны. И не то, что в сорок первом или в сорок втором годах, – уже не верили в свою победу, как и в крикливого фюрера.

Тыловая линия, бывшая и второй линией обороны, проходила через хутор, окруженный пирамидальными тополями, обелесевшими от солнца, с сожженной корой, – тополя прикрывали от ветра и жары богатый грушевый сад, в котором росла знаменитая бессемянка, несколько породистых бергамотов – семь или восемь корней, и десятка три совершенно беспородных дуль, из которых получались лучшие в ми-

ре целебные компоты, известные даже в Москве… По части знакомства с бергамотами Максимов был слабоват, по части бессемянок тоже, хотя доводилось ими лакомиться, а вот что такое маленькие сладкие дули, похожие на груши-дички, он знал хорошо.

Хутор состоял из трех легких глинобитных домов, в которых летом было прохладно, а зимой тепло, – вот что значит, изготовлены они были из местного природного материала, а крыша, на сибирский манер, была покрыта дранкой (значит, кто-то из здешних мужиков, ныне пребывающих на фронте, происходил из сибиряков), жили во всех трех хатах согнутые в бублик говорливые бабки, при них находились шустрые глазастые молодайки-казачки.

Хоть и размещался передний край недалеко, перестрелки и дуэли были там обычной вещью, случались ежедневно, а хутор оставался целым, лишь два раза сюда прилетали снаряды, один из них срезал несколько тополиных верхушек, а второй оставил в самом углу обширного огорода глубокую воронку, которая позже пошла под выгребную яму для солдатского нужника.

Бабки были хитрые, на снаряды почти не обращали внимания, лишь презрительно щурили подслеповатые глаза, да откашлявшись с гулким танковым звуком, сплевывали себе под ноги слюну, плевок растирали правой либо левой галошей, – какой было сподручнее, той галошей и растирали.

На Максимова одна из них положила глаз, хотя была стар-

ше его лет на двадцать пять, – характер имела беспокойный и даже решила поговорить на этот счет с командиром роты лейтенантом Пустыревым.

– Зачем он вам нужен, старикашка этот? – с воинственной миной на морщинистом, как куриная задница, подступила она к лейтенанту. – Демобилизуйте его и оставьте нам, мы его вылечим… И на хуторе все защита будет. А в знак благодарности мы вам сварим две бочки грушевого компота. Вы такого компота никогда не пробовали, товарищ командир. – Тут бабка высморкалась в кулак, ладонь вытерла о старый носовой платок, сшитый из ткани в горошек, и рявкнула трубно: – А?!

Пустырев, человек московский, любивший музыку и литературу, интеллигентный, не выдержал, опустился до уровня старых тапочек:

– Ты, бабка, совсем сбрендила, как же я могу отпустить с фронта бойца Красной армии? За это мне обеспечен приличный срок за решеткой или того хуже – пуля по решению военного трибунала.

– Нельзя, значит? – не обращая внимания на гневный тон командира, неожиданно жалобным, совсем рассопливившимся голосом поинтересовалась бабка, бравость она растеряла быстро. – Ай-яй-яй, совсем не уважают красные командиры людей, сделавших в семнадцатом году революцию!

Конечно, на хуторе, который совсем мог бы развалиться,

нужны были мастеровитые руки, очень нужны, но их не было – шла война… А война – вещь куда более жестокая, чем скрученные в три погибели старухи, оставшиеся без мужской поддержки, но если мы ее проиграем, то вряд ли бублики останутся в живых. Да и на хуторе ничего не будет, кроме ободранных до сердцевины стволов мертвых пирамидальных тополей… Черноглазых молодух определят в какой-нибудь захудалый публичный дом для низших чинов вермахта – вот чем все тогда закончится.

Пустырев не стал дальше рассуждать и отвечать на неуклюжие старушечьи притязания и, поскольку времени у него в запасе не было ни свободного, ни несвободного – никакого, в общем, махнул рукой и ушел. Максимов, прищурив один глаз, придирчиво оглядел шуструю старушенцию и спросил спокойно, без всякой досады в голосе:

– Ну чего, получила? А вообще-то, мать, ты легко отделалась. Если бы ты не была ровесницей Ивана Грозного, он бы тебя за попытку ослабить ряды Красной армии в особый отдел сдал бы. Отдел называется Смерш. Эта штука – посерьезнее, чем отхлестать крапивой голую задницу. И вообще, имей в виду, бабка, голова кое-чем отличается от кормовой части.

Бабка вспыхнула, распрямляясь, превратилась в кукурузный початок, глянула на пулеметчика так, что у того на голове чуть не задымилась пилотка, и исчезла. Похоже, она имела прямое отношение к нечистой силе, иначе с чего бы ей

исчезать, как пару, вылетевшему из тесной кастрюльки?

Не заполучив лучшего пулеметчика батальона, старухи, жалеючи себя, основательно прокашлялись, похрюкали, – кто в кулак, а кто в платок, и сварили для стрелков-гвардейцев целую бадью, литров на двадцать, своего прославленного компота. Поскольку сахара не было, Максимов вручил им подарок разведчиков – стеклянную банку сахарина – сладких таблеток. Компот получился «на пять» – командиры и бойцы всех четырех рот попробовали его, и все сладко чмокали губами, хвалили и ахали благодарно.

Гусенок издали почувствовал Максимова, – у него был нюх хорошей собаки, – и издал торжествующий крик. Пулеметчик обрадовался, сказал напарнику:

– А гусь наш может быть очень толковым сторожем, хоть в боевое охранение ставь его… Любого фрица за пару километров учует, даже если тот обратится в ворону. И слух у него есть, и нюх, а главное – сообразительный.

Гусенок, учуяв хозяина, выпрыгивал из фуры и, как правило, важно прохаживался около задних колес, выщипывал из земли зеленую травку, если та была, щелкал клювом и, как солдат перед построением, поправлял на себе оперение. Максимов, как всегда, еще на ходу, приближаясь к фуре, вытаскивал из кармана гостинец – то пару кусков кукурузного хлеба, то половник каши, завернутый в размякшую крафтовую бумагу, то еще чего-нибудь; на этот раз вытащил завер-

нутый в немецкую газету жмых, несколько размолотых до рафинадного размера кусочков…

– Интересно, кого немцы жмыхом кормят? – полюбопытствовал Малофеев. – Уж не лошадей ли?

– Думаю, сами едят. Жмых у них разведчики в ранцах часто находят, в карманах находят… А что! Жмых немецкий – сладкий, чай без сахара пить можно.

Гусенок жмыхом бывал доволен, восторженно хлопал клювом, будто дятел, нашедший под лохмотом сгнившей коры жирную личинку. Каждый раз Максимов поднимал его на руки, будто взвешивал: м-да, гусенок уже не был гусенком, которого порыв ветра мог перевернуть вверх лапами, он здорово вырос и весил килограмма полтора, не меньше.

– Хар-рош гусь! – поддерживал своего шефа второй номер.

Два дня, которые пулеметный расчет провел в близком тылу, на второй линии, гусенок не отходил от Максимова, бегал за ним, как собачонка, был очень довольный, развлекал людей – то клювом, словно барабанщик щелкал, то крякал, будто утка, то взвизгивал голосом ржавым, высоким, изображая из себя чайку или какую-нибудь иную сытую птицу из числа перелетных, скажем, не задерживающихся на одном месте, то вдруг голосом солидного взрослого гуся приветствовал командира роты Пустырева, решившего проверить тыловое хозяйство, делал это так громко, четко, что комроты иногда не выдерживал и брал под козырек… Дру-

гих командиров гусенок, надо заметить, замечал не очень. Только командиров второй роты – своей!

– Максимыч, у тебя в хозяйстве настоящий старшина подрастает, – сказал Пустырев как-то пулеметчику.

Пулеметчик с таким заявлением был согласен целиком и полностью.

Два дня хватало расчету, чтобы выспаться, привести в порядок одежду, починиться – особенно штаны, состоящие из заплат и дырок, постираться, – прежде всего простирнуть нижнее белье, состоящее из рубах и кальсон (у Максимыча нижнего белья, особенно ценного в окопной жизни, было целых три пары – умудрился на фронте обогатиться, обзавелся и был этим обстоятельством очень доволен), проверить себя на вшивость и целых два раза принять «баньку» – попариться в деревянной бочке из-под соленых огурцов…

В общем, почти всегда двухдневный передых совсем недалеко от передовой удавался на все сто, а может быть, даже больше, чем на сто процентов, – на сто пятьдесят, скажем.

Гусенок, как опытная собака, чувствовал, что Максимов скоро уйдет, и там, куда он уйдет, жизнь нелегкая, может окончиться печальной вестью, грустнел, делался молчаливым, долго стоял на одной лапе у заднего колеса фуры и тихо смотрел на своего покровителя.

Тот иногда не выдерживал:

– Да не смотри ты на меня так похоронно, я еще живой.

В ответ гусенок не издавал ни звука, молчал. Так было

всегда.

Война на Голубой линии считалась войной самолетов, в воздухе боев было больше, чем на земле, – так считают некоторые деятели от исторической науки, но случалось, что немцы утюжили и землю… В тот день пара «мессеров» – ведущий и ведомый, – решила пройтись огнем по пулеметным гнездам, оборудованным в ячейках наших окопов.

Немцы были лихие, вели себя нагло, летали на низкой высоте, чуть ли пузом не задевали за земляные брустверы окопов, за квадратными стеклами колпаков были видны их смеющиеся лица.

Смех фрицев выводил наших солдат больше всего, выводил и Максимыча. В тот день он не выдержал, натянул на голову каску и приказал своему напарнику:

– Ты тоже прибарахлись, прикрой бестолковку-то, обуй ее…

Когда «мессер» на ходу взрезал землю – будто тупой лопатой начал калечить ее, взбил вверх целые фонтаны глины, грязи, сухих комков, камней, Максимыч нырнул под пулемет, и тот своим телом прикрыл его… Случились и попадания – несколько пуль угодили в щиток и станину пулемета, но, слава богу, мимо Максимыча, пулеметчик лишь молча перекрестился, стряхнул грязь с гимнастерки, сгреб комки земли с каски и произнес угрюмо:

– Ладно! – проворно, пыхтя, как паровоз, развернул пулемет, – не очень-то разворотливый, скажем так, – успел это

сделать вовремя, поскольку на линию окопов вновь заходили «мессеры», и когда они приблизились, дал по головной машине длинную очередь.

– Попал, попал! – что было силы заревел за спиной Максимыча окоп.

Очередь угодила в низ пилотского колпака, где были проложены укрепляющие шины из нержавеющей стали, выбила толстый сноп ярких электрических брызг, «мессер» дрогнул и, визжа мотором, работавшим на пределе, поспешно отвалил в сторону – бравому фрицу стало не до пулеметного гнезда Максимыча.

Ведомый отплюнулся ответной очередью, пущенной впустую, лишь взрыхлившей землю на ничейной полосе, и отвернул следом за ведущим, которому важно было уйти на свою территорию, под прикрытие немецких окопов. Если сядет у русских, то ему капут.

Больше истребители не появлялись, небо посмурнело, с лиманов потянуло влагой, моросью, духом гнилых водорослей, похоже было, что скоро закрапает дождик, – возможно, и затяжной, Максимыч подвинул пулемет на место, которое было ему положено занимать, прикрыл своей палаткой и услышал приближающийся животный звук – на наши позиции шла немецкая мина крупного калибра.

За первой миной завыла вторая, потом третья, за третьей четвертая. Что-то сильно всполошились фрицы – уж не грохнулся ли подбитый Максимычем «мессер»? – иначе с чего

бы немцам включить в игру «ванюшу» – крупнокалиберный шестиствольный миномет? На ровном месте у фрицев таких обстрелов не бывает.

Первые мины вреда не принесли, они были с недолетом, а вот шестая или седьмая с сочным звуком впечаталась в глинистую влажную землю метрах в пяти от пулеметного гнезда.

Если от снаряда, всадившегося в землю в нескольких метрах от человека, еще можно спастись, то от мины нельзя. Не дано просто. Снаряд, взрываясь, выплевывает осколки густым фонтаном, образует мертвую зону, в которой можно уцелеть, – человека может оглушить взрыв, но осколки даже легкой царапины не оставят, и такие истории на фронте случались часто, а вот от мины спастись невозможно, – она все сбривает на земле, как косой, – под корень.

Да потом мина может легко залететь в сам окоп, просто запрыгнуть в него, чего со снарядами не случается, – снаряды в основном всаживаются в бруствер, сносят его, осколки срубают макушки у толстых деревьев, подчистую сбривают ветки, оставляя лишь голые стволы.

Максимыч запоздал на несколько мгновений, привычно нырнул под пулемет, но не успел, – мина хлопнулась рядом, искорежила кожух, отрезала кусок щитка, в правое плечо пулеметчика всадились два горячих зазубренных осколка.

Малофеев пострадал меньше, его оглушило, сильно оглушило, из ушей потекла кровь, на левой щеке образовалась

широкая ссадина – рваной железкой ему содрало кожу. Но сознания Малофеев не потерял, увидел, в каком состоянии находится Максимыч, и закричал что было силы, чувствуя, как у него рвутся жилы на шее:

– Санита-ар!

Санитара в окопе не оказалось, – где-то в другом месте занимался своими делами, крик Малофеева повис в воздухе, немцы, словно бы ориентируясь на этот крик, швырнули еще несколько мин в сторону нашего окопа.

Перелет. У всех мин перелет. Повезло. Малофеев перевернулся пару раз на дне окопа, не вмещаясь в него, подкатился к первому номеру.

– Максимыч, ты жив?

В ответ тот просипел что-то глухо, со свистом всосал в себя воздух – пулеметчик находился без сознания.

– Ай, Максимыч, ай, Максимыч… – болезненно, словно бы обжегся кипятком, пробормотал второй номер, начал прикидывать, с какой стороны лучше подобраться к начальству, но застрял на полудвижении, замер, словно бы его взяла оторопь – то ли сгоряча, то ли с оглушения Малофееву показалось, что если он тронет Максимыча, с тем немедленно что-то случится.

Либо сердце остановится или легкие откажут и пулеметчик задохнется без кислорода, либо что-нибудь еще перестанет работать – например, печень. Малофеев напрягся, выкрикнул что было силы, чуть барабанные перепонки не по-

рвал, и свои собственные и соседей по окопу:

– Санита-ар!

По окопу, низко пригибаясь, держа перед собой сумку, защищая ее одной рукой, прибежала совсем юная девчонка в пилотке, прикрепленной к волосам шпилькой, с ходу подсунулась под Максимыча.

– Помогите кто-нибудь! – тонким напряженным голоском пропищала она. Малофеева этот призыв пронял до костей, он всем телом повалился было на Максимыча, чтобы ухватиться за него, взвалить на свои плечи, но наткнулся на резкий окрик юной санитарки. – Назад! Вам нельзя… Вы приготовьтесь к перевязке!

Под вой еще нескольких мин, примчавшихся с немецкой стороны и забивших воздух острым кислым духом, очень едким, Максимыча унесли.

По дороге попался старшина Сундеев, Максимыч, уже пришедший в себя, с замутненными от боли глазами, попросил:

– Егорыч, позаботься там о животном, ладно? Не то ведь пропадет.

Старшина с ходу понял, о каком животном идет речь, успокоил Максимыча:

– Все будет в порядке, не тревожься!

– Не то ведь у нас есть такой народ, что не только гусенка, а и пулемет с голодухи смолотить готов, – голос у Максимыча от слабости быстро сел, перешел в свистящий шепот, он

закрыл глаза.

– Гусенок будет получать у меня ту же еду, что и командир батальона, – пообещал Сундеев, – а уж по части смолотить кого-нибудь мы с ним любого разбойника смолотим, не подавимся. Ты, Максимыч, выздоравливай поскорее, это главное.

– Буду стараться, – окончательно угасшим шепотом, почти беззвучно выдавил из себя пулеметчик.

Из госпиталя его, кстати, могли направить в другую часть, в стрелковый полк или в пулеметную роту, охраняющую какой-нибудь аэродром, либо в штаб фронта, – всякое могло быть. Главное – сейчас выжить, а уж потом… Там какой хомут на шею натянут, такой и придется тащить.

Максимыч закрыл глаза и отключился – к телу подступил жар, словно бы пулеметчика ногами вперед сунули в паровозную топку… Как народного героя Сергея Лазо. Тело болело, будто на него обвалился кусок скалы, наполовину размял человека, руки ослабли настолько, что Максимыч уже не мог ими шевелить.

Через полтора месяца, когда Максимыча уже предупредили о том, что впереди замаячила выписка, скоро будет медкомиссия, у пулеметчика в палате появились гости, два ротных командира из отдельного гвардейского батальона – Пустырев и Фарафонов. Пулеметчик в первый раз, – раньше не пробовал, – откинул от себя деревянную клюшечку, достав-

шуюся по наследству от прежних обитателей палаты, и собирался потренироваться в ходьбе без всяких подпорок, но сбыться благим намерениям не было суждено.

– Вот он! – всунувшись в палату, громко провозгласил Пустырев. – Здесь он!

Следом за ним показался командир первой роты Фарафонов, оба подтянутые, выбритые, торжественные, при фуражках, хотя в окопах командиры предпочитали ходить в пилотках – на пилотку сподручнее нахлобучивать каску. Похоже, товарищи командиры принарядились ради какого-то праздника.

Только какого именно? Может, наши войска освободили очередной крупный город? Или сегодня международный день стрелков из рогатки, мастеров топора и пилы, а заодно – и пулеметчиков? Максимыч как раз принадлежит к последнему разряду специалистов, тогда попадание в десятку… Может, товарищи командиры и приехали к нему поздравить с этим важным днем?

Он задвинул ногой клюшку под кровать, – предмет этот, совсем не вожделенный должен остаться в палате для следующего клиента, который, стеная жалобно и схлебывая с губ соленый пот, станет учиться после ранения ходить по земле… Дело это трудное, осваивать его по второму разу в жизни очень непросто, и Максимыч заранее жалел этого человека.

– Максимыч! – привычно проговорил Пустырев, вышел

на середину палаты, откашлялся тщательно. – Товарищи! – обратился он к тем, кто лежал на койках. – Пулеметчик Максимов в день, когда был ранен, сумел сбить из станкового пулемета немецкого стервятника – самолет «Мессершмитт-109»…

Палата зааплодировала.

– Все-таки получил свое разбойник? – не выдержал Максимыч, раздвинув небритое лицо в кроткой улыбке, – этим обстоятельством он был доволен.

– Получил сполна. Разведчики ходили на ту сторону, видели этот «мессер»… Разделан так, что кукарекать от удовольствия хочется. А герою – награда от командования соответственно. – Пустырев передал Максимычу мягкую картонную книжицу, следом серебряный кружок, прикрепленный к колодке, – медаль «За боевые заслуги».

В окопах медаль эту называли сокращенно ЗБС. Хотя правильно было ЗБЗ. Что ЗБС, что ЗБЗ – все одинаково приятно.

– Самолет, рассыпанный по винтикам и болтикам, по железкам мятым и ржавым, лежит в четырех километрах за линией фронта, – сказал Фарафонов, добавил, хотя можно было не добавлять, и так все было понятно, – на немецкой территории и, как сказали бы наши инженеры, восстановлению не подлежит.

Пустырев прицепил медаль к нательной рубахе Максимыча, сшитой из плотной байки с треугольным вырезом, пожал

ему руку, оглянулся, словно бы хотел проверить, не подглядывает ли кто за ними? – никто не подглядывал, и Пустырев проговорил негромко, как опытный заговорщик:

– Неплохо бы медаль эту в стакан окунуть, но такой возможности у нас в госпитале, Максимыч, нету, извиняй! Сделаем это у себя, в родном окопе… Или позже, в Берлине, когда наступит победа – все ордена тогда обмоем!

После этого многообещающего заявления командиры четко, как на параде, откозыряли и ушли.

Палата заволновалась:

– А как же быть с фронтовой традицией, утвержденной самим Верховным главнокомандующим – все награды обмывать обязательно, а? Ведь для этого и выдаются наркомовские сто грамм!

Это донеслось из одного угла палаты. Из другого угла донеслись иные слова, хотя тема была старая.

– Если не обмыть медаль чем-нибудь крепким, а потом не вытереть о кусок мягкого хлеба, она ведь и оторваться может и потеряться навсегда…

Максимыч удрученно развел руки в стороны.

– Мужики, если бы у меня было хоть что-то, даже дорогое заморское, я бы зажимать не стал…

Положение спасла молоденькая фельдшерица, лишь несколько дней назад присланная в госпиталь и еще не успевшая освоиться с драконовскими здешними законами, – принесла Максимычу колбу, наполовину наполненную чистым

медицинским спиртом…

Эта колба и была распита – награда требовала обмывки.

* * *

Вернулся Максимыч в свой гвардейский батальон, который продолжал стоять на старых своих позициях, – окопы те не сдвинулись с места ни на метр, они словно бы высохли под горячим солнцем до каменной твердости и теперь их нельзя было взять ни гранатой, ни снарядом, ни динамитом. Комиссия, которую перед выпиской из госпиталя прошел Максимыч (как и все выписывающиеся), прислушалась к его просьбе и вновь отправила на хутор из трех домов, а уж от хутора того до окопов – рукой подать.

Время уже стояло осеннее, по ночам земля покрывалась серебряным налетом, было холодно. Максимыча вместе с пополнением из двадцати двух новобранцев забросила полуторка, приехав, он даже докладываться командиру не стал (Пустырев – человек необидчивый, ежели что – простит), побежал в хозблок, где стояли фуры: как там гусенок?

А гусенок уже почувствовал, что приехал хозяин, – нюх он имел собачий, – выпрыгнул из фуры и что было мочи понесся к Максимычу. Максимыч с лету подхватил его и сморщился от боли, возникшей внутри, – это уже был не гусенок, а настоящий гусь. Довольно грузный, большой, – подрос, однако!

Максимыч засипел, стравил воздух, застрявший в глотке, и произнес сипло:

– Тебя уже в пулемет запрягать можно.

Гусенок обрадовался ему невероятно, бормотал что-то нежно, в голосе его возникали серебристые, как у журавля нотки, переливались, превращались в пение, радостное курлыканье это долго не держалось, теряло громкость, – все нежные слова, которые произносил гусенок, были тихими.

Не в силах после ранения держать гуся на руках, Максимыч присел на камень, потом, скинув с «сидора» лямку, запустил руку внутрь и достал из мешка матерчатый кулек с невесомо сухими пшеничными дольками, высушенными в госпитале на подоконнике специально для гусенка.

Раздернув горловину кулька, Максимыч поднес его к гусенку:

– На-ка, дружок, поклюй!

В груди у гусенка пророкотало что-то негромко, будто шевельнулась охотничья дробь, насыпанная туда кучкой, в следующий миг он сунулся клювом в кулек, забормотал довольно.

– Это тебе от повара нашего госпиталя персональный привет, – объяснил Максимыч гусенку, тот выдернул голову из кулька, прислушался к речи, несколько раз кивнул, словно бы подтверждая, что он все понял и все намотал на ус, теперь очень благодарен товарищу повару. – Трескай, трескай, – подогнал Максимыч гусенка.

Тут и старшина Сундеев подоспел, раскинул руки в стороны:

– Максимыч, это ты?

– С утра был я. – Максимыч поскреб ногтем усы и раздвинул губы в улыбке, появление старшины было для наго светом в окошке, Сундеев был его ровесником, не молодым и не старым, бойцом, с которым он шагает от Сталинграда, съел вместе пару котелков соли, а хлеба… хлеба и того больше, целую телегу, не говоря уже о каше, которую батальонный повар умел варить из чего угодно, даже из старых голенищ и осколков снарядов, и каша всегда получалась вкусная… И сытная.

Сундеев развел руки еще шире.

– Ёкалэменэ! Вернулся? А я думал, заберут тебя куда-нибудь в ударную гвардейскую армию, и все – поминай, как звали Максимыча.

– Ну как же я без тебя и без гусенка, Егорыч? С гусями в ударные армии не берут. Хотя… У кого не берут, а у кого и берут, все зависит от человека и, извиняй, его боевого опыта.

– Чего-то ты, Максимыч, заговорил, как молодой, не очень опытный политрук. У старых политруков языки уже не так устроены, говорят они более коротко и менее значимо.

– Обижаешь, Егорыч, – пулеметчик, не соглашаясь с этим, покачал головой.

– Даже не думал обижать. Как чувствуешь себя, чего говорят повелители валерьянки и нашатырного спирта?

– Раз с госпитальной койки спихнули, значит – здоров.

– Да не спихнули тебя, друг ситный, скорее всего, ты сам с нее соскочил.

– В своем батальоне, где каждая кочка знакома, не говоря уже о командире, любая рана, даже порванная душа, не говоря уже о стреляной ране, заживет быстрее, чем в самом лучшем госпитале.

Пока они говорили, гусенок смолотил уже все угощение и довольно постучал клювом: задание, мол, выполнено.

– Насчет командира. – Сундеев вздохнул, поджал губы, покачал головой, сочувствуя и себе самому, и Максимычу, и всему стрелковому батальону, и коротко и сухо доложил: – Нет у нас в батальоне больше командира… Два дня назад погиб – мина шлепнулась прямо под ноги. Вместо него покамест назначили Фарафонова, из первой роты…

– Да знаю я Фарафонова. – Максимыч поморщился с досадливым вздохом. – А батальонного жаль – он старался людей сохранить… Как же он не уберегся?

– Поди, унюхай на войне, откуда смерть появится: из-под земли вылезет или из воздуха вытает? – Старшина покачал головой, снова вздохнул, затем достал из кармана пачку немецких сигарет, украшенных изображением солдата в стальной каске. – Попробуй. Разведчики цельную коробку приволокли.

Максимыч покосился на пачку, прищурил один глаз:

– Больно рожа у фрица в шлеме зовущая – на тот свет что

было силы приглашает, кирпича в морду просит… Видно, мало получил в Сталинграде? А за цигарку спасибо.

– Сигареты неплохие. Табак, говорят, французский. Хорошо просушен, с добавками – душистый, в общем… – старшина подержал пачку в руках и вновь загнал в карман. – Чего-то ты сердитый из госпиталя вернулся. Может, действительно не долечился?

– Ты чего, Егорыч? Я не знал, как из палаты выскрестись. Это была первая задача… И вторая – не промахнуться и вернуться в свой батальон. В свой, а не куда-нибудь…Так что докладываю тебе: обе задачи выполнены успешно.

Старшина погладил гусенка, как собаку, ладонью по голове, гусенок держался гордо, шею не гнул, вел себя, будто королевская птица, имеющая в своей породе, как минимум, королевских лебедей.

Второй номер расчета Малофеев уже находился в батальоне, он вообще обошелся малым – в госпиталь не поехал, отлежался на хуторе, под присмотром «бубликов», старушки отпоили, вылечили его грушевыми компотами, травяными отварами, настойками и в конце концов привели в порядок, – и быстро привели, так что, когда Максимыч появился на огневой позиции, пулемет был до блеска вычищен, в кожух залита вода для охлаждения, в приемник заправлена длинная лента с затейливым рядком новеньких блестящих патронов.

При виде напарника глаза у Малофеева влажно заблестели, он заморгал часто и молча шагнул к Максимычу. Не произнося ни слова, обнял, он вообще минуты три молчал, словно бы что-то закупорило ему горло, встав поперек дыхания, но потом отпустило, онемение прошло, и второй номер выкашлял из себя:

– Прошу пожаловать в родной окоп – прошу! И прими пулемет, он в полном порядке.

Максимыч улыбнулся расслабленно и опустился на новенький снарядный ящик, приставленный к стенке окопа, затянулся знакомым здешним духом – здесь пахло и порохом, и солдатским потом, и химической гарью и много чем еще, затем, сипло закашлявшись, с трудом выдохнул и проговорил:

– Ты прав, тут все родное… Наконец-то я дома.

Голос у него был тихий, словно бы процеженный через какие-то воспоминания… А может, Максимыч вспоминал совсем недавнее, госпиталь, в котором пролежал более полутора месяцев, возможно, даже какую-нибудь сестричку… Впрочем, вряд ли, Максимыч был не очень охоч до всяких смазливых дамочек в белых халатах, дома у него была жена, – совсем уже старуха, на несколько лет старше его, и он считал, что не имеет права обижать родного человека неверностью.

А на позиции их боевой, пристрелянной со всех сторон, утоптанной, прокаленной насквозь солнцем, – казалось да-

же, что длинный извилистый окоп со стрелковыми и пулеметными ячейками прорублен в вечной скальной породе, которую не взять ни снарядом, ни гранатой… Максимыч посидел немного на снарядном ящике, помял пальцами виски, словно бы хотел избавиться от головной боли, покосился в сторону фрицевых окопов, защищенных по всем правилам осадной войны (вокруг них была и колючая проволока намотана, и спиралью опутаны подходы, и на обычную гладкую проволоку в шашлычном порядке насажены консервные банки с оторванными этикетками, чтобы звон от них был чище, и даже поставлены растяжки (не боялись немцы, что подорвется кто-нибудь из своих), – проговорил с тихим вздохом:

– Ну что ж… Будем воевать дальше.

Противостояние на Голубой линии продолжалось, было оно долгим. Когда пришел приказ покинуть линию обороны, расположенную около старушечьего хутора, была уже зима. И холода подступали, как на севере, и птицы, не боявшиеся пуль, уже не пели на остриженных деревьях, – вполне возможно, они рванули в спокойную теплую Африку, и земля сделалась какой-то пустой, даже чужой…

Прошло немного времени, и на место убитого комбата прислали нового, Фарафонов вернулся в свою роту, на прежнее место, в штабе появился бравый щеголеватый капитан с пижонскими ниточками-усиками, изящно оттеняющими волевой рот нового назначенца, – ну будто бы специально была

проложена узкая шелковая тесемка.

Фамилия нового комбата была Щербатов, фамилию он носил материнскую, – это специально, чтобы не обращать на себя внимание, поскольку отец его, генерал-лейтенант, воевал на этом же фронте, начальником штаба в одной из армий. Знакомясь с хозяйством, Щербатов внимательно обследовал старушечий хутор, засек там и присутствие гуся, вкусно поцокал языком и объявил:

– Это дело я одобряю! Дойдем до Берлина и там съедим его в честь победы.

До победы еще столько надо было пройти, столько съесть каши с солью и выхлебать из котелка чая, что день тот светлый совсем не был виден. В общем, далеко смотрел капитан. Максимыч, узнав о его планах на гусенка, сунул в пространство фигу:

– Такие гуси – несъедобные.

Через несколько дней батальон двинулся на запад.

– Слушай, а может, нам на гусенка выписать красноармейскую книжку, чтобы его никто не трогал? – предложил Малофеев, задумчиво сгреб лицо в одну большую горсть. – А? Капитан рот свой откроет, требуя от повара суп из гусятины, а мы ему в физиономию – книжку: вы чего, хотите супа из красноармейца? Да он после этого гусятину вообще есть перестанет… На всю оставшуюся жизнь. – Малофеев подумал-подумал и добавил: – А может, письмо его отцу-генералу написать?

– Ладно, – ворчливо подвел итог разговору Максимыч. – Будем жить дальше, а там посмотрим.

– Чем дальше будем жить, тем ближе к Берлину, – пробормотал Малофеев озабоченно. – А Берлин – это штука такая… Вдруг капитан все-таки захочет гусиного супа?

– Попросим защиты у пулемета. Надеюсь, он не откажет? – Максимыч стукнул ладонью по защитному щитку. – А сейчас – все. Прекращаем болтовню!

Настроение и у первого номера, и у номера второго было паршивое. Сталинградского гусенка надо было защищать.

Батальон находился в Польше, в городке, украшенном двумя высокими мрачными костелами, словно бы их строил один и тот же угрюмый, обозленный на весь мир архитектор. Отвели батальону на отдых трое суток. Погода стояла сырая, серая, северный ветер пробирал солдат до костей, но вот приятный подарок – второй день отдыха оказался неожиданно ярким, звонким, как старинная золотая монета, очень тихим, словно бы войны не было вовсе.

Бойцы приободрились, подтянулись, почистили подштопанные гимнастерки и шинели, наштукатурили сапоги – кто-то ваксой, кто-то раздобыл тележной мази, кто-то, извините, собственными слюнями, – все хотели при солнечном свете выглядеть нарядными, мужественными, произвести впечатление на красивых здешних паненок.

По соседству с батальоном в просторной, смахивающей

на барское поместье усадьбе расположилась польская саперная рота. Неведомо, какие были из жолнежей в конфедератках саперы, но кавалерами они были крикливыми, не стесняясь девушек, прикладывались к бутылкам, наполненным мутным, с сизыми разводами бимбером, схожим с первачом, смешанным с дымом, пели песни, скандалили, матерились; с русскими старались не связываться, хотя и поглядывали на них свысока.

Один из саперов засек в хозяйстве русского батальона гуся, очень удивился этому обстоятельству и в сопровождении двух своих сподвижников пришел к Максимычу.

– Дед, предлагаю выгодный обмен, – предложил он, – мы тебе две поллитровки первака, а ты нам своего гусака.

– И что вы собираетесь с гусаком сделать? – вежливо поинтересовался Максимыч.

– Зажарим!

– Не годится! Гусь не продается и не покупается, не обменивается и зажарке не подлежит, – Максимыч не выдержал, сжал руки в кулаки: однако шустрая ныне шляхта пошла, гость делает непристойное предложение, но лицо при этом мастерит такое, как у бухгалтера колхоза, в котором до войны работал Максимыч. Гость не понял, почему пожилой русский ему отказывает, и начал повышать голос… Максимыч потерпел одну минуту, вторую, а потом выпятил грудь, украшенную орденскими колонками и рявкнул так, что с ближайшего дерева попадали вороны:

– А ну, вон отсюда, вояки, голы сраки! Быстрее, пока я за пулемет не взялся!

– Пулеметом не пугай, у нас свой имеется, – предупредил его поляк.

– Такого количества, как у нас, не найдется, понял? – Максимыч не сдержался, перестал управлять собственной физиономией, лепить из нее что-то благожелательное, и лицо его сделалось таким бармалейским и хищным, даже страшным, что незваные гости невольно попятились от него.

А главный их переговорщик, который делал «гусиное» предложение, зло сверкнул глазами, у него, кажется, даже козырек конфедератки задымился от отраженного света, произнес, с трудом продавливая слова сквозь стверденные тонкие губы.

– Смотри, дед, как бы чего не вышло и тебе не пришлось бы стирать следы пинков со своей дупы. – Максимыч знал, что значит «дупа» в переводе с польского и принял заявление жолнежа к сведению. – Не то возьмем и все пулеметы у вас отнимем. – Поляк неожиданно повысил голос.

Русский язык он знал довольно неплохо, на это Максимыч тоже обратил внимание – видать, в плену у нас сидел, либо, когда наши в Польше находились, обучился русской речи; судя по твердости взгляда и жестким манерам, происходил он из воровской братии, и если это было так, то ничего святого у него быть не должно.

– Ну, погоди, дед… – проговорил поляк шелестящим, по-

чти неслышимым голосом, различал его только Максимыч, спутники же шляхтича, два длинноносых солдата с красными невыспавшимися глазами не слышали ничего.

– Погожу, погожу, внучек, – спокойно ответил Максимыч.

Шляхтич был назойлив, говорил что-то еще и говорил, но пулеметчик уже не слышал его, стоял, наклонив голову, потом не выдержал, шагнул в сторону и выдернул из фуры винтовку, всегда лежавшую там на случай непредвиденных обстоятельств, с тихим маслянистым щелканьем передернул затвор.

– А ну! – сипло выкрикнул он, ткнул винтовкой перед собой, не поднимая ствол над землей. – Вон отсюда!

– Це-це-це! – воинственно поцецекал языком шляхтич, и Максимыч, сжав губы, нажал на спусковой крючок винтовки, короткий всплеск припечатался к земле, и поляки дрогнули, отступили на несколько шагов: поняли, что у этого ширококостного, невысокого роста, чуть криволапого русского они не смогут разжиться не только лакомым гусем, из которого могло бы получиться превосходное блюдо, они даже драной доской от фуры, чтобы разжечь огонь, не разживутся.

Максимыч передернул затвор и вновь хлобыстнул коротким огненным плевком в землю. Стрельба была, конечно, неурочной, за такую наказывают, но Максимыч решил, что лучше перегнуть палку, чем недогнуть.

Наверное, он был прав, но вот что тревожно – как бы бравые поляки не устроили на приглянувшегося им гусенка охо-

ту, – только ради одного этого можно перегибать палку.

Вновь с тугим щелканьем выбив стреляную гильзу, Максимыч загнал в патронник свежий патрон. Через мгновение поляков и след простыл, никому из них не хотелось шествовать дальше по родной земле с дыркой в кормовой части…

Поняв, что опасность миновала, гусенок с едва слышным кряхтеньем вылез из своего отсека – научился маскироваться «на все пять», с тихим утиным говорком, не слышимым в двух шагах от фуры, ткнулся в ногу сидящего на земле Максимыча. Потом ткнулся снова.

Очнувшись, Максимыч переставил винтовку с одной стороны на другую, с левой на правую, вздохнул.

– Ладно, – со вздохом произнес он, со вздохом поднимаясь на ноги, – здешние грабители – не самые большие специалисты в Польше. А с другой стороны… В общем, посмотрим, что будет дальше.

Гусенок, существо миролюбивое, был согласен с такой точкой зрения, проворковал что-то нежно, в самого себя, – воркование совсем не было слышно, – и затих.

Хоть и ожидал Максимыч следующего визита любителей гусятины, они больше не наведались в расположение советского батальона и его колесной тяги, – похоже, поняли, что усталый, с морщинистым, сильно смятым от недосыпа лицом русский может садануть по конфедераткам из винтовки.

А вот другого лиха пулеметчики зачерпнули по целой шайке. Как в плохой бане. И не только расчет «максима», –

весь батальон. Невозможно было поверить, что в этом чистом, ухоженном, на каждом шагу старающемся удивить старинным памятником городке, их могла зацепить другая холера – вши.

На фронте бойцов часто проверяли по так называемой форме двадцать – на наличие вшей, устраивали прожаривание на кострах, зарывали одежду в землю и обрабатывали солдатские манатки дымом, – от вшей только лапки оставались, да пустые жирные кожурки…

Операций этих, по форме двадцать, обеззараживающих одежду, в боевых частях стеснялись, солдаты отводили друг от друга глаза, будто уличенные в чем-то неприличном, – так было везде, на всех фронтах.

Впрочем, справедливости ради надо заметить, что в батальон, где служили наши герои, вшивая напасть обходила стороной. И на Голубой линии вшивых в батальоне не было, и под Сталинградом, а вот в Польше насекомые достали их, – причем достали мгновенно, словно бы вражеский самолет приволок целый вагон этого кусачего дерьма и сбросил на город, на центральную площадь.

Уже в конце второго дня гвардейцы только охали, почесывая у себя под мышками, ругались, да худыми словами поминали тех, кто изобрел вшей. Явно в наказание человеку. Но поминай не поминай, ругайся не ругайся, а вшей надо было превращать, как минимум, в сало для смазки сапог, а если в это жарево добавить еще немного черной краски, то

можно получить и качественную обувную ваксу.

Явно налет вшей на мирный древний городок был подготовлен диверсантами из СС, насекомые были такие злобные, что бойцы подметили: они выедали в медалях, особенно если награды были отлиты из благородного металла, довольно глубокие лунки – то ли гнезда для потомства готовили, то ли металл потребляли в качестве пищевой добавки…

Непростые существа эти, помеченные точками, едва передвигались от обжорства и лопались с треском, от которого ломило зубы – видать, эсэсовцы вывели особый сорт: так им хотелось победить, что они даже вшей взяли себе в союзники… Вместе с итальянцами, венграми, чехами, финнами.

Первое, что сделал командир батальона, – заставил весь молодняк, прибывший с двумя последними пополнениями, остричься под нуль, старикам же, которые желали сохранить остатки седеющих волос на макушке, выдать дуст – пусть обработают свои шевелюры так, чтобы ни одной гниды не осталось… И запаха чтобы не было – ни дустом не пахли, ни навозом, – допустимо пахнуть «Красной Москвой» или цыганским одеколоном «шипр», и не более того. Одежду немедленно прожарить.

Максимыч боялся: а вдруг вши навалятся на гусенка – съедят же живьем! Но нет, ни одна вошь к птице не пристала, ни одна, вот ведь…

Ровно через три дня батальон двинулся дальше.

Жизнь у гусенка стала – держи ухо востро, иначе уволо-

кут птицу вместе с фурой, поэтому он научился лихо поднимать тревогу: немедленно начинал и гоготать, и крякать, и кудахтать, и лаять по-собачьи, и рычать, как рассерженный медведь – в общем, научился многому, и если поблизости не было Максимыча, то с автоматом выскакивал старшина, врубал сильный трофейный фонарик:

– Кого тут черти носят?

Надо заметить, что каждый раз тревога была обоснованной, Сундеев обязательно кого-нибудь выволакивал, а Максимыч, обнаружив сегодня в темноте двух солдатиков московского разлива, не опускаясь до разбирательства, надавал им по шее и предупредил:

– Если еще раз засеку – вышелушу зубы. Все! До единого. Даже кашу нечем есть будет. Понятно?

Носами направил вчерашних жителей столицы на выход из хозяйственной части и ловким движением ноги придал им хорошую стартовую скорость, чтобы эти задницы, – вместе с передницами, – не мозолили ему глаза.

Больше завзятые московские гурманы не появлялись, – как духи, не имеющие плоти; похоже, они вообще были не из их батальона. Максимыч присел на пустой ящик, оперся рукой о теплую, нагретую за день землю, послушал пространство, наполненное тишиной, с редкой, задавленной расстоянием стрельбой осветительных ракет, полюбовался падающими звездами (а звезд, скатывающихся на землю, было много, каждая из них была душой человеческой, сгубленной

чужими пулями), погрустнел, размышляя о падающих звездах, смежил веки и не заметил, как уснул.

Видел он сон, а во сне – дом свой, сложенный из двух половинок, кирпичной и деревянной. Деревянная половинка – это старая изба, доставшаяся отцу его от родителей – деда и бабушки, тесная, теплая, которую стали заваливать разными предметами, едва появилась новая половина, – так в городах поступают с чердаками; кирпичный же дом был парадным, тут и гостей принимали, и на торжественные обеды собирались, – все вместе, не забывая приглашать и дальних родственников, за столом вмещались даже сопливые детишки, а тех, кто был уж совсем соплив, в люльках подвешивали над краем стола.

Русские семьи тем и сильны, что в них никогда никого не забывали, всех помнили, и если какому-нибудь неприятелю надо было дать отпор, также собирались вместе и сообща ломали хребет противнику куда более сильному.

Проснувшись, Максимыч некоторое время не мог понять, где он находится, – слишком уж тихо было все вокруг, было погружено в прозрачную, вызывающую зуд в хребте туманную дымку, пространство было таинственно-лиловым, словно бы пулеметчик находился в глухом рассветном лесу, от неведомого предчувствия у него даже сжало глотку.

Предчувствия на войне играют серьезную роль, в человеке все обостряется, всякий, даже очень малый звук может сказать ему о многом, он вообще может навести на цель, мо-

жет спасти человека через несколько минут, может, наоборот, убить… война – это война.

Сознание прояснело. Природе от войны достается больше всего, – и как только она терпит издевательства, которые ей подкидывает человек, учиняют его деятельные руки? Воздух тем временем, несмотря на рассветную прозрачность, потяжелел, растерял романтичную лиловость, загустел, впечатление было такое, что скоро посыплется дождь…

Впрочем, ефрейтору Максимову к дождю не привыкать, дождь – это много лучше, чем иссушающая жара или стужа, от которой ломит кости, под дождем расчет Максимова провел столько времени, сколько природой вообще не предусмотрено.

Тут еще одна напасть подоспела – на фронте заботы, пахнущие пороховым дымом или окрашенные в пороховой цвет, в одиночку не ходят, перемещаются обязательно кучно, иногда большим числом, – о подросшем гусенке вспомнил капитан Щербатов, очень ему захотелось, как тем полякам, свежей гусятинки отведать… Давно, видать, не ел комбат, еще с московской поры.

– А что, Максимов, может, не дожидаться нам Берлина и устроить какой-нибудь звонкий праздник? Например, взять, да отметить день Парижской коммуны… Как?

Максимыч быстро понял, куда тянет батальонный и угрюмо, сжимая слова зубами, произнес:

– Этот праздник уже прошел… В прошлом году, летом.

– Вовсе не обязательно, чтобы был день Парижской коммуны, Максимов. Пусть будет день охотничьего пыжа. Или праздник хорошо начищенных сапог. Или день копченой рыбы. В общем, неважно, что за праздник. А гуся твоего, чтобы он не занимал место в обозе, пустим в суп. Ну как идея, Максимов?

– Плохая идея, я уже говорил как-то, – прежним угрюмым, очень глухим тоном проговорил пулеметчик.

Это батальонному командиру не понравилось, он поморщился, будто вместо сахара ординарец положил ему в чай горчицы, расправил складки на гимнастерке, стягивая их под ремнем в одну кучку.

– На фронте, где положено быть предельно дисциплинированным, есть одно железное правило, ефрейтор Максимов, которое не оспаривается ни в суде, ни в нижестоящих штабах, – приказ. Будет приказ – выложишь гуся на сковородку, как миленький.

– На фронте, товарищ капитан, есть вышестоящие командиры, которые отменяют приказы командиров нижестоящих, если приказы эти дурацкие, – глухо и упрямо проговорил Максимыч.

Лицо комбата стало не только морщинистым и кислым, но и покраснело, как зрелый помидор на щедрой кубанской грядке.

– Вы, ефрейтор Максимов, вы… вы будете у меня в первых рядах цепи ходить в атаку… С винтовочкой в руках,

без всякого пулемета, яс-сно… – начал выговаривать комбат и захлебнулся, словно бы в довершение обеда проглотил пару горячих гвоздей, в следующую минуту взял себя в руки, выпрямился горделиво, окинул пулеметчика высокомерным, каким-то брезгливым взглядом, поправил воротник на гимнастерке, не совладав с верхней пуговицей, рванул ткань, и пуговица шлепнулась ему под сапоги.

Зло подбивая мысками сапог куски земли, деревяшки, ржавые железки, некстати вылезшие на поверхность, Щербатов ушел. Максимыч проводил его внимательным взглядом. Хотел было даже предупредить, чтобы берег ноги, ведь так он может поддеть мину-противопехотку, но не стал, – разорется еще человек, выйдет из себя…

А комбат на фронте должен иметь спокойную, трезвую и холодную голову: на передовой в любую минуту может случиться что угодно.

Вечером, когда старшины потащили в свои роты бидоны с едой, Щербатов вызвал к себе командира второй роты.

– Слушай, Пустырев, что за человек у тебя в роте числится пулеметчиком? Он хоть за пулеметом своим следит? А то я вижу, он гусю, которого выращивает, чистит задницу чаще, чем пулемету?.. Не перевести ли его в окоп?

– Он и так в окопе находится, товарищ капитан, – сухо, очень вежливо и спокойно ответил Пустырев.

Щербатов снова поморщился: до чего непонятливый народ окружает его! В этом вопросе надо навести порядок.

– А вот как пулеметчик, он чего, со своими профессиональными обязанностями справляется или не очень справляется?

– Считается лучшим пулеметчиком нашего батальона.

– Кто это определил?

– Еще до меня определили, до моего прихода в батальон. И это действительно так, товарищ капитан.

– Тэк-тэк-тэкс, – задумчиво произнес Щербатов, постучал пальцами, как барабанными палочками по столу, с недоброй улыбкой покачал головой. – А ведь он очень бы неплохо в первых рядах атакующей цепи. Со своими медалями. Знамени в руках только не будет хватать.

– Не советую, товарищ капитан, переводить ефрейтора Максимова в рядовые бойцы. В первой же атаке, в которую вы пойдете, вас и не станет.

– Очень похоже на угрозу, лейтенант!

– Никак нет, товарищ капитан! Зная батальон, просто хочу предостеречь вас.

Лицо у Щербатова потяжелело, некоторое время он сидел молча, думал о чем-то своем, потом, вздохнув, махнул обвядшей рукой:

– Ладно, хрен с ним, с гусем этим! Пусть живет и молится за своих заступников. Хотя пулеметчика я загнал бы в обычную стрелковую ячейку.

Пустырев на это ничего не ответил, промолчал.

Погода стояла весенняя, солнышко, похожее на круг домашнего коровьего масла, купалось в золотистой небесной выси, плавало по ней, шевелилось взбодренно; если постоять где-нибудь в укромном углу, в затишке минут двадцать пять, то и загореть можно было до эфиопской коричневы… Хорошо было; всякому солдату невольно вспоминалось детство с его радостями и звонким теплом, с надеждами, среди которых ожидание лета было одно из самых главных…

И что хорошо – в детстве все надежды сбывались, все исполнялись… А вот сейчас, когда вчерашние дети стали взрослыми и даже поседели, постарели, – особенно, когда попали на фронт, – сейчас надежды сбудутся?

Утром в пять часов, когда сырость пробивала до костей, а язык от холода прилипал к нёбу и мешал говорить, вместо отчетливой речи раздавалось какое-то невнятное мычание, бойцы батальона были погружены в новенькие «студебекеры» и вместе со всем своим хозяйством, в том числе и с фурами, переброшены дальше на запад.

Надо заметить, что границу с Германией никто бы из них и не засек, если бы не мутный буйный Одер.

Вода в реке, шириной не уступающей Волге, была грязной, полной мусора, – и чего только не было в желтоватых, радужно поблескивавших мазутом завитках воды, – увидеть можно было все, от плывущих ботинок в праздничной-яркой намокшей коробке до деревянного кузова, сдернутого с грузовика и плывущего важно, будто большой одежный шкаф

из гарнитура какого-нибудь известного средневекового замка…

Очень уж широк был Одер в этом месте, неужели нельзя было переместиться куда-нибудь в сторону километров на двадцать-двадцать пять, где река поуже? Нельзя. В этом месте проходит самая короткая дорога на Берлин – короче нет.

Немцы вели по реке частый огонь – старались помешать возведению понтонных мостов, снаряды взбивали высокие тяжелые фонтаны воды, опускавшиеся назад, в реку, с грохотом не меньшим, чем сами снаряды.

Но огонь немецкий не мешал саперам работать, возводить понтонные переправы. Вот одна темная металлическая нитка перекинулась с одного берега на другой и тут же по ней пошли танки, следом машины, в основном «УралЗИСы» – главная автомобильная тяга войны, словно бы в подкрепление к ним – сыто пофыркивающие моторами студики, как солдаты называли сильные американские «студебекеры», поступавшие на фронт по ленд-лизу, ставшему предшественником второго фронта, согревавшие солдатские души и головы мыслью, что есть еще страны, готовые протянуть советским людям руку помощи.

– И чего фрицы все кидают и кидают свои чемоданы в реку, батя? – неожиданно обратился к Максимычу при посадке солдат из соседней полуторки, которая через несколько минут въехала на шаткую конструкцию понтонного моста следом за «студебекерами» отдельного стрелкового батальо-

на. – Ведь вон, стоят на нашем берегу «катюши», целях пять штук, вдарили бы пару раз по целям и все – фрицев даже слышно бы не было, не то, чтобы кидать чего-нибудь на наши понтоны.

– Видать, «катюши» для других дел предназначены, иначе бы вдарили. С этим вопросом надо к высшему командованию обращаться, не ко мне, – ефрейтор потыкал указательным пальцем вверх.

А «катюши» действительно стояли под прикрытием ровного, словно бы по линейке выросшего ясеневого леска без дела и чего-то ожидали.

Пареньку в старой выгоревшей каске, испещренной следами прежних ударов, царапинами это дело было непонятно. Впрочем, как непонятно и самому Максимычу – ему тоже хотелось, чтобы «катюши» развернулись в боевой порядок и пару-тройку раз врезали по немецким орудиям, укрытым за линией горизонта, рявкнули бы и все – этого было бы достаточно, чтобы далекие гитлеровские пушки умолкли навсегда.

Тем временем снаряд попал в «студебекер», шедший впереди, понтон просел, от бортов машины полетели щепки, обломки креплений и уголков, с крючьев сдернуты лавки, которые были поставлены поперек кузова.

Кабина мгновенно сжалась, перекособочилась и обратилась в одну большую дыру, наполненную огнем, дымом, яркими брызгами, похожими на стремительный, остро режу-

щий глаза дождь электросварки. Машины остановились. Но ненадолго.

К «студебеккеру» тут же метнулись солдаты, находившиеся на мосту, с дружным «И-и-раз!» приподняли машину и, несмотря на протестующие крики низкорослого коренастого капитана, с четвертой попытки, – первые три не удались, – отправили «студебекер» за урез понтона.

В воздухе мелькнули лишь испачканные грязью колеса, где в глубоких вездеходных протекторах шин застряло несколько голышей, почерпнутых на проселочных дорогах.

– Эт-твою, – жалобно сморщился любознательный паренек в старой выгоревшей каске, – к нам бы в колхоз эту машину, она бы у нас еще лет пятьдесят проходила бы…

Снаряды продолжали падать в бешеную воду Одера, взбивали высокие фонтаны, били по одной-единственной понтонной нитке, не отодвигались от нее в сторону, а в стороне уже заканчивали возведение еще нескольких понтонных мостов (не хочется употреблять слово «сборка», именно – «возведение», настолько мужественной, одухотворенной, лишенной страха была работа саперов), и очень скоро по ним также поползли танки и машины с людьми и военным скарбом.

Понтонная нитка, на которой застряли «студебекеры» отдельного батальона, зашевелилась, ожила, и на тот берег, попыхивая сизым дымом, с треском, лязганьем и перегазовками, также двинулись автомобили.

Технику перед последним штурмом германских редутов

не жалели – ни нашу, ни американскую, – вообще ничью. Надо было сделать окончательный рывок, перекусить глотку Гитлеру, а потом уже считать, чего и сколько мы потеряли. Бойцы понимали: потери неизбежны и мирились с ними.

Когда «студебекер», в котором находился Максимыч, уже достиг середины понтона, неожиданно раздался сиплый, очень сильный вой, последовал резкий удар, за ним второй, малость послабее, машину приподняло над понтоном, и Максимыч с криком полетел в воду. Рядом с ним в мутные жесткие волны шлепнулся пулеметный ствол, срезанный со станины, и тут же ушел в непроглядную речную глубину, рядом плоско распласталась, рассыпаясь на лохмотья ивовая кошелка, связанная из прутьев специально для гусенка, еще что-то, за что глаз пулеметчика не зацепился, поскольку к его хозяйству не имел отношения…

На пару метров Максимыч ушел в глубину, в воде ухватился за голенища толковых трофейных сапог, которыми обзавелся совсем недавно, точными, хотя и машинальными движениями подтянул их и тут же очутился на поверхности…

Первым, кого он увидел, был гусенок с полоской крови на голове. Вид у гусенка был такой, будто он собирался нырять вниз, в глубь этого неприятного Одера, если хозяин вдруг не всплывет. Максимыч отплюнулся – в деревне он был первым пловцом: по речке мог плавать не только поперек, но и вдоль,

не говоря уже о прудах, которых у них было два и где водились крупные раки: пруды были глубокие – захлебнешься, прежде чем донырнешь до дна и рачьих нор, поэтому добыть клешнястого спутника боченочного пива было делом непростым… Но практика у Максимова была.

Максимыч оглушенно потряс головой. С понтона ему бросили спасательный круг, привязанный к веревке, сделал это все тот же мальчишка в старой каске, нахлобученной на этот раз на его голову, как ночной горшок – небрежно и косо. Он выпрыгнул из кузова своей малосильной полуторки, едва «студебекер», идущий впереди, был оторван от понтона фашистским снарядом.

– Хватайся, дядя! – прокричал паренек, но до пулеметчика его голос не дошел, – что-то сильно шумело в ушах, хотя, может, шумело не в ушах, а в нем самом, глубоко внутри – возможно, сердце лопнуло или порвалась какая-нибудь аорта?

– Хватайся за круг, дядя! – тем временем разрывался паренек, поддевал кулаком каску, сползающую ему на нос, загонял ее на затылок, но она снова ползла на мокрый от воды нос, и паренек морщился от досады: старый солдат с ефрейторскими лычками на погонах не слышал его.

Около Максимыча плавал гусенок. Попав в родную стихию, он совсем не обращал на нее внимания, барахтался рядом с человеком, суетился, хлопал крыльями, даже подныривал под него, словно бы стараясь помочь, кричал… Имен-

но его крик дошел до Максимыча первым, а уж потом возникло ощущение опасности.

На фронте это ощущение оттачивается особенно, – как и чутье, – беду опытные фронтовики могут почувствовать за несколько дней.

Одной рукой он зацепился за круг, просунулся в него по самое плечо, второй подхватил гусенка – боялся потерять. В родной стихии он погибнуть никак не мог, умереть ему было дано только от пули или осколка, да еще – от топора капитана Щербатова.

Снаряды сильнее всего кромсали первую понтонную нитку, на которой сейчас находились машины с родным батальоном Максимыча, хотя уже начали взрываться и около свежих переправ, проложенных рядом.

Пулеметчика благополучно вытащили на нещадно гремящий железный понтон и вместе с гусенком усадили в кузов полуторки. Парнишка в каске кинул ему брезентовый пояс, которым укрывались бойцы в кузове во время перемещения под сильными здешними ливнями.

– Накинь на себя, дядя, здесь холодно. На берегу выжмешь одежду.

От реки действительно несло лютой северной студью, словно бы истоки Одера находились где-нибудь в вековых ледниках Шпицбергена или Земли Франца-Иосифа…

Через полминуты Максимыч вновь увидел около себя этого мальчишку, он сунул пулеметчику фляжку с отвинченной

пробкой.

– Хлебни пару глотков, дядя. Больше мужики не разрешают, это неприкосновенный запас… А пару глотков, говорят, можно. Чтобы какой-нибудь коклюш не прицепился.

– Коклюш! – хмыкнул Максимыч и сделал два аккуратных глотка из фляжки. Вкуса водки почти не почувствовал – так остудила его вода Одера, – вернул фляжку пареньку. – Спасибо, друг сердечный… Как тебя зовут?

– Зовут? Сенькой. Сенька Кузнецов, вот как будет.

– Хорошее имя и хорошая фамилия, – похвалил Максимыч, зябко передернул плечами и молвив едва слышно что-то невнятное – не заболеть бы! – уткнулся лицом в мокрую одежду, притянул к себе гусенка и затих.

День, когда переправлялись через Одер, не был счастливым для батальона, скорее наоборот, – при самом выезде с раскачивающегося, как при шторме, понтонного моста на землю снаряд угодил в первую машину, где находился Щербатов.

Мотор у «студебекера» развернуло розой, – несколькими лепестками-складками, кабину разломило по лоскутам, выдернутый из гнезда руль унесся в пространство, сбил с ног какого-то майора, стоявшего на берегу с открытым ртом, – майор прибыл из политотдела понтонного полка прочитать бойцам лекцию о международном положении, но кто ее будет слушать здесь, в Берлине, в двух шагах от победы?

Водитель «студебеккера» был убит, Щербатов ранен. Ко-

мандование батальоном вновь перешло к Фарафонову.

Щербатова кое-как перебинтовали на берегу и с медсестричкой Лизой – шустрой пятидесятилетней женщиной-санинструктором, у которой на верхней губе, как у Чапаева, росли приметные темные усы, увезли в госпиталь.

Вот так судьба распорядилась с людьми на одной лишь переправе, – а таких Одеров в жизни Максимыча и его товарищей было много… И будут еще. Даже несмотря на близкий конец войны…

А победу уже ощущали все, в том числе и гусенок, добравшийся до Одера вон откуда, с Волги – аж из самого Сталинграда.

Еще во время переправы Максимыч обратил внимание, что, несмотря на визг снарядов и пороховой дух, стелющийся над землей, на высоковольтных опорах, врытых в реку, сидели солдаты, чинили электричество, – и обрадовался этому: по колхозу своему он знал, что это такое и вообще что значит электричество в жизни земли, людей, всякого хозяйства, имеющего свои поля, одобрил это дело: оперативно работают ребята, время не теряют…

Невольно подумал о том, что когда немцы пришли на советскую территорию и начали распоряжаться на ней, как у себя дома, чинили ль они линии электропередач, гидростанции, котельные и отопительные узлы, прочее имущество, разбитое войной?

Вряд ли.

Максимыч никогда и ничего об этом не слышал. Не было этого.

Шестнадцатого апреля, ранним утром, – хотя рассветом еще даже не пахло, небо было угольно-темным, туманным, ни одной звездочки не было видно в этих шахтных пластах, – наши войска начали разламывать оборону главного германского города.

Первыми долбить толстую бетонную скорлупу начали «катюши», – вот и наступил их черед, – дали несколько залпов, подожгли не только землю, но и камни, и воду, и воздух; за «катюшами» заговорили все стволы, что имела подошедшая к Берлину наша артиллерия, все сказали свое слово, – кроме, может быть, легких противотанковых сорокапяток, которые бойцы таскали на себе.

Когда отработала свое артиллерия и в дырах немецкой обороны горело все, что только могло гореть – доты, дзоты, танки, врытые в землю, пушки, стоявшие в боевых капонирах, зенитные и пулеметные точки, в бой рванулись танки и самоходные орудия САУ, – они пошли прямо следом за движущейся черно-огненной стеной взрывающихся снарядов, сжигавших все, что попадалось им по пути, – двигались впритык, смешивались с густым секущим дымом, потом вытаивали из него, чтобы сделать выстрел и снова растворялись в черном мареве.

Такого ефрейтор Максимов не видел никогда, не встречал

ни на одном фронте – ни под Сталинградом, ни на Голубой линии, ни в Польше, – от усиленного звука взрывов он часто хлопал ртом, будто рыба, выброшенная на берег, многослойный грохот выворачивал наизнанку барабанные перепонки, боль стискивала виски, железными клещами сдавливала затылок, в ноздри лезла вонючая кислятина, но ни на кислятину, ни на боль пулеметчик не обращал внимания. Он слышал свое обрадованное сердце: наконец-то!

Наконец-то они перекусят горло зверю, который принес им столько слез, горя, беды, обиды, намеревался взорвать землю, где родился сам Максимыч, родились двое его детей, родилась жена, где находятся родные могилы – ведь на их сельском погосте лежат все Максимовы, несколько поколений, – за все придется расквитаться немцам.

Грохотали наши пушки, снаряды рвали плоть здешней земли, сминали, превращали в пыль всё и вся, что здесь стояло…

А потом пошла пехота, с ней, естественно, и ефрейтор Максимов с полученным ночью новым облегченным пулеметом и старым напарником Малофеевым, рядом двигался расчет певуна Фомича – ефрейтора Сковороды и его необстрелянного второго номера… В цепи батальона находились все, даже старшина Сундеев, который прежде в атаках почти не участвовал, лишь обеспечивал их, как было принято говорить у начальства.

Но это было еще не все – за спиной у атакующих неожи-

данно вспыхнул парализующе яркий свет, от которого воздух разом сделался жарким, свет был настолько мощным, сильным, что разом обесцветились, стали прозрачными, почти невидимыми фигуры наступающих бойцов; Максимыч решил оглянуться, рассмотреть, что же это такое и словно бы получил сильный удар по глазам, – понял, что может в несколько секунд ослепнуть, согнулся резко и зашаркал сапогами дальше.

Теперь ему стало понятно, для чего армейские электрики, не дожидаясь, когда же фронт отойдет хотя бы немного и перестанет играть орудиями, начали чинить немецкие электростанции и линии передач, по которым можно было передать ток высокой силы и обеспечить эту несметь света…

Через час немецкая оборона была взломана, и отдельный стрелковый батальон вместе с частями корпуса, которому он был придан, на приличной скорости рванулся вперед, сминая упрямый эсэсовский полк, огрызавшийся до последнего патрона.

Воздух был так плотно загажен дымом, химической вонью, гарью, что на физиономию хоть противогаз натягивай – дышать было нечем, легкие скрипели впустую, выдавливали из себя горячее сипенье, словно в доменном цехе, где Максимычу доводилось бывать на Косой горе, глотка была обварена, тело гудело, – на ногах было трудно стоять…

В этом бою Максимычу пришлось здорово поработать – едва пальцы не скрючило от напряжения, а от пулеметного

стука, как ему показалось, во рту расшатались и чуть не повылетали зубы: еще немного – и челюсти, – и верхняя и нижняя, – оказались бы пустыми. И без того у него зубов не хватает, скоро вообще будет раз-два – и обчелся, а тут эта напасть… Если лишится зубов, то чем же он будет догрызать противника, тем более – эсэсовцев.

Погибших в тот день в батальоне было много. Погиб и певун Фомич – ефрейтор Сковорода, – вместе со своим напарником: в воронку, которую Сковорода занял и приготовился к отражению контратаки, прилетела немецкая мина, ни певуна, ни молодого помощника его в живых не оставила, истыкала осколками, огрызками железа так, что одежда на телах их едва ли не насквозь пропиталась кровью.

Увидев убитого Сковороду, Максимыч неожиданно поперхнулся воздухом, словно бы получил в шею пулю, глаза у него сделались влажными, хотя раньше не было ни одного случая, чтобы он заплакал на фронте. Даже когда терял очень близких людей. А тут не выдержал, горестно покачал головой:

– Эх, Фомич, Фомич! Почему так несправедливо все? За что? – голос у него сел в несколько секунд, сделался почти неслышимым, словно бы в невидимую пулевую рану вытекли все его силы, а вместе с ними готовился покинуть тело и дух ефрейтора. – За что?

Ответа на этот вопрос не было.

Похоронили Сковороду с напарником в братской моги-

ле, – причем хоронили бойцов с таким расчетом, что через некоторое время тела придется извлечь и перезахоронить в могиле более вместительной, вместе с другими солдатами, в торжественной обстановке, под звуки оркестра и винтовочный салют.

– Фомич, Фомич, ну почему все так несправедливо? За какие-то десять дней до конца войны. – Максимыч горестно качал головой, дергал плечами и никак не мог успокоиться.

Братская могила была огромная, как силосная яма, которую в колхозе Максимыча закладывали на зиму, чтобы кормить домашний скот и поддержать жизнь в деревне, – вначале уложили нижний слой погибших, куда попал и Сковорода с напарником, затем тела присыпали землей, слой был толстый, скрыл лежавших целиком, потом уложили второй ряд, – также плотно, плечом к плечу, чтобы и на том свете бойцы ощущали друг друга, поддерживали, ежели что, и всегда помнили о том, что они – советские солдаты, победители… Второй ряд погибших также был засыпан слоем земли, затем похоронная команда стала аккуратно, деловито укладывать третий ряд братской могилы… И так – до самого верха.

Максимыч ощутил, как у него начало нехорошо сдавливать горло, – ну будто бы кто-то сцепил свои жесткие пальцы на его шее и давай давить, давай, он, зажав в себе всхлипы, рождающиеся внутри и остающиеся там, выбрался из молчаливой толпы солдат и отошел в сторону.

На поясе у него висела фляга, была она не пустая – наполнена горьковато-сладким, пахнущим степными травами напитком (как утверждал Малофеев, это была столетняя егерская настойка), он снял баклажку с ремня и отвинтил пробку.

Сделал один глоток, другой, потом третий. Как иногда бывало у него в таких случаях, вкуса напитка не почувствовал – вкус исчез.

Исчез и на этот раз. Внутри что-то ныло, было горько и казалось – вот-вот остановится сердце.

Хотя в бою у солдата ощущение собственного сердца, того, что оно существует у него, иногда исчезает совсем, – ну словно бы вообще у человека нет сердца, вот ведь как…

Слух о том, что ночью первого мая был взят Рейхстаг и на этом война закончилась, пронесся по Берлину ранним утром, но Рейхстаг не был взят, угрюмое громоздкое здание это дымилось, в некоторых окнах продолжало полоскаться тусклое, словно бы готовое угаснуть пламя, на нескольких этажах шли бои с эсэсовцами.

Сопротивлялись эсэсовцы отчаянно, изо всех сил, иного выхода у них не было, выжить им в майском Берлине не было дано… Если только сдаться в плен.

Из всех слухов верно было только то, что командующий берлинским гарнизоном генерал Кребс обратился к маршалу Жукову с просьбой о перемирии, маршал в этом Кребсу

отказал.

Вернувшись в свой штаб, Кребс спокойным голосом отдал несколько распоряжений своим заместителям, после чего поднес пистолет к виску и застрелился.

Несколько часов в Берлине стояла тишина, от которой у не очень опытного бойца запросто могло что-нибудь поехать в голове, – эсэсовцы не стреляли, надеясь на чудо, наши тоже молчали, и лишь один звук царил в городе, – треск раздуваемого ветром пламени. Страшный это был звук. Что ж, немцы достигли того, чего добивались. Под командой своего фюрера.

Комендантом Берлина после выстрела Кребса был назначен генерал Вейдлинг, – тот самый серый генерал, депутат рейхстага, который отличился в борьбе с партизанами Украины и Белоруссии, был взят в плен, разоружен, но ночью бежал из сарая, в который его посадили, оставив на охапке сена свой парадный мундир со всеми наградами и значком депутата, но вот видите, каков был поворот судьбы – он оказался последним комендантом Берлина. И вряд ли бы о Вейдлинге сейчас кто-нибудь заговорил, если бы он не подписал акт о капитуляции берлинского гарнизона…

Максимыч читал в одной из дивизионок – дивизионной многотиражке – заметку о Вейдлинге, очень ему этот «выдвиженец» не понравился, – заметку до конца не дочитал и передал газету второму номеру:

– Держи на самокрутки!

– Спасибочки! – по-школярски поблагодарил Малофеев, затем пробухтел с неожиданной гордостью: – Из наших газет самокрутки получаются качественнее, чем из немецких, да потом немецкой бумагой отравиться можно…

Наверное, так оно и было.

Берлин был взят и зачищен, как принято ныне говорить, – зачисткой занимался пограничный полк, носивший наименование Рижского, патрули в зеленых фуражках (впрочем, фуражки эти форменные были только у командиров групп) брали в первую очередь эсэсовцев, – эта организация была признана преступной, с каждым эсэсовцем в отдельности должен был разбираться суд, слишком уж много крови было на их руках.

Вопрос о том, чтобы из гусенка сварить душистый шулюм, уже не стоял… Не для этого он прошел путь от Сталинграда до Берлина, да и не обессилевший тощий гусенок это уже был, а настоящий важный, умный и знающий себе цену гусь.

Он уезжал вместе с Максимычем на родину пулеметчика, в Орловскую область, в переживший оккупацию колхоз, где землю весной сорок пятого года пахали, как знал Максимыч из письма жены на старом танке со снятой башней, а боронили на коровах – родных буренках, выживших, честно говоря, с трудом.

Из села, где жил Максимыч, немцы были выбиты очень скоро, так что позлодейничать им не удалось, пришлось при-

крывать свои задницы фанерками, на которых удобно съезжать с гор и по крутым орловским холмам, перемахивая с одной вершины на другую на полустертой фанерке, драпать к своим. Благодаря скорым действиям Красной армии коровы и остались живы и теперь подменяли собою лошадей.

Хорошо, что хоть плуги не таскали, эта тяжелая работа досталась танку со спиленной башней… Вот туда и направлялся бывший гусенок, а ныне, повторюсь, настоящий гусь, уже большой, с красными лапами, зоркими петушиными глазами, крепким клювом и коротким, шустро и очень смешно подергивающимся хвостом.

Надо отдать должное Максимычу – он позвал старшину Сундеева, своего напарника Малофеева, себя хлопнул ладонью по груди, на которой серебряным звоном отозвались многочисленные медали, пулеметчик в этой компании был третьим, – и сказал следующее:

– Все мы в одинаковой степени опекали нашего сталинградца – кормили-поили его, спасали от разных любителей жареной гусятины, совали в укромное место во время артналетов и тем более – бомбежек… В общем, у гуся нашего судьба солдатская, он мог много раз погибнуть, но не погиб. Поэтому давайте поступим так: с кем гусь захочет пойти дальше, с тем пусть и идет.

– А как нам это определить?

– Очень просто. – Максимыч достал из кармана новеньких, выданных по случаю победы рубчиковых бриджей ку-

сок мягкого хлеба, разломил его на три части, дал по куску Сундееву и Малофееву, один кусок взял себе. – Теперь образуем круг пошире и в центр его поставим гуся. К кому он пойдет за хлебом, с тем и уедет из Берлина.

– Интересно, – сказал Сундеев, – не думал, что ты такой изобретатель, все можешь точно рассчитать, как татарин на дореволюционном рынке в Гатчине, и свести концы с концами.

– Позови-ка нам повара, – попросил Максимыч своего напарника, – пусть заглянет к нам. – Пулеметчик похмыкал в кулак. – Насчет татарина в Гатчине до семнадцатого года ничего не знаю, но татары – народ даровитый, умный, да и в бою не подводит, это ты, Егорыч, должен знать по себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.